

ДЕДУШКА

Люблю рассматривать старинную фотографию моего дедушки. Помню то я его в преклонном возрасте, когда ему было за 80 и он уже старейшина Владимирской слободки.

Почти ежедневно его звали на всякие торжества. Та свадьба не свадьба, поминки не поминки, если во главе стола не сидел мой дедушка. Приглашали его и при разрешении фамильных конфликтов, примиря враждующих. Как теперь понимаю, это было связано не только с возрастом. Он был мудр.

А на фото 1925 года дедушка еще бодр, полон сил. Какое благородство, достоинство в лице, повороте головы! Князь! Вот только руки — заскорузлые руки труженика — выдают происхождение. Да присмотревшись, замечаешь обтрепанные рукава черкески, которую, сколько я помню, он носил постоянно, как и ножны кинжала, внутри которого давно уже был деревянный клинок вместо стального.

Безусловно, дедушка обладал природным умом, что и позволило ему ради детей бросить насиженное место в горах Куртатинского ущелья, где была только трехклассная школа, и переселиться в город. Терять-то особенно и нечего было, разве что саклю, прилепленную к скале. Отец рассказывал мне, что зимой скала покрывалась инеем, и все дети ложились вокруг очага — единственного места, где можно было согреться. Но в городе и такой сакли не было, и несколько лет семье пришлось ютиться по чужим углам. Зато у сыновей (обе дочери вскоре вышли замуж) появилась возможность встать на ноги.

Старший, Евгений, давно жил самостоятельно, вначале во Владикавказе, затем в Петербурге, а в 1912 году выехал в Германию и обосновался в Берлине.

Мой отец, Кирилл, был вторым сыном. Сразу после приезда во Владикавказ он поступил рассыльным в мануфактур-

ный магазин, к началу революции дослужился до приказчика. После революции отец под влиянием Евгения пошел работать в типографию. Начинал он наборщиком, а к моменту ареста в 1937 году был корректором типографии.

Третий сын, Николай, обучился ремеслу и всю жизнь сапожничал.

Четвертый — Занчора, прожил недолго. Во время гражданской войны в возрасте 17 лет он погиб от случайной пули, когда просто шел по улице.

И, наконец, самый младший — Эльбрус. Он постоянно находился под присмотром Евгения, который мечтал дать способному младшему брату хорошее образование и профессию.

Дедушка давал сыновьям полную свободу, никогда не навязывал им своей воли, что редкость в такой патриархальной семье.

Да и что, кроме свободы, мог он им дать, хотя всю свою жизнь трудился? Мама рассказывала, что зимой дедушка каждый день ездил на старой лошаденке в лес, возвращаясь, завозил дрова на базар. Вырученных денег едва хватало на покупку муки, крупы.

Бабушка моя умерла, когда деду не было еще 70-ти лет. Он даже вознамерился жениться вторично, на что просил разрешения у старших сыновей. Отец мой не возражал, когда же написали об этом Евгению, то пришел ответ: «Нечего людей потешать, не тот возраст!» Дедушка, говорят, обиделся, но сделать что-то вопреки воле Евгения считалось таким кощунством, что и помыслить было невозможно.

И дедушка, и мой отец, и Эльбрус, с которым я дружила до самой его смерти и очень любила его (Николая я знала мало: он жил особняком), были более открытыми, веселыми, увлекающимися, чем Евгений.

Со мной у дедушки были особые отношения: ведь без меня ему трудно было объясняться с мамой, голос которой, по осетинскому обычаю, он не должен был слышать.

Имя мое дедушка не мог выговорить, у него получалось что-то вроде Зиши. Всех это смешило, его самого тоже.

После ареста моего отца дедушка очень изменился: ссутулился, стал молчаливым. Он не хотел никуда от нас уходить даже ненадолго, хотя видел, как трудно маме содержать семью.

Иногда дочь почти насильно забирала его к себе в село. Самое большее — он выдерживал там два дня. На третий, никому ничего не сказав, палку на плечо, пешком 8 км — и вот он, мой бабпу, стучит в дверь!

Зиши, я убежал! Пусть теперь ищут меня! Посмотри, что я тебе принес.

Он развязывал носовой платок, узлом привязанный к концу палки, и доставал гостинцы: конфеты, яблоко, грушу — и радостно следил, как я уплетаю все это. Потом обнимал меня и надолго замолкал.

О чем он думал?

О прошедшей жизни, о приближающейся смерти?

О сыновьях, разбросанных по свету?

От Евгения уже несколько лет нет никаких вестей.

Два года, как арестовали Кирилла, самого мягкого, доброго из сыновей. За что?

Вот и Эльбрус, живущий в Москве, замолчал. Может, и с ним что-нибудь страшное случилось?

Один Николай недалеко, так он что есть, что его нет. Отца своего стыдится и избегает, ни с кем из родных не общается.

Рядом с дедушкой притихала и я. Мы подолгу сидели обнявшись, и я ощущала в дедушке частичку отца, по которому так тосковала!

...Я была дома одна, когда ворвались соседские мальчишки с криком:

— Там твоего дедушку задавили!

Я побежала за угол, где обычно на ступеньках сидели старики. Теперь около ступенек стояла группа людей, обсуждая случившееся.

По узкой дороге ехал грузовик. Неожиданно на проезжую часть выбежали, держась за руки, двое детей. Избегая наезда, шофер въехал на тротуар, сбил женщину. Видимо, растерявшись, шофер круто повернул руль — прямо к трем сидевшим старикам. Двое были помоложе — смогли отскочить, а дедушка, опираясь на палку, пытался подняться, но... машина вдавила его в стену.

Когда я прибежала, «скорая» уже увезла и женщину, и дедушку. На асфальте алели пятна крови, у стены валялись обломки дедушкиного посоха.

Я подобрала обе половинки такой знакомой дедушкиной палки и, прижав их к груди, давась слезами, побрела на работу к маме.

Пошли мы с ней в больницу. Мама осталась в дверях палаты, а я подошла к дедушке, взяла его руку. Он был в сознании.

Бабпу, это я.

С кем же ты пришла?

С мамой.

Где она? Пусть подойдет, — с трудом сказал дедушка и попытался открыть глаза.

Я передала маме его просьбу. Она сделала шаг, потом остановилась:

— Что же я пойду? Мы никогда не разговаривали, как же я...

Вернувшись к дедушке, я соврала:

— Маму не пускают в палату.

— Почему не пускают? Ведь кормилица моя — она, опора моя — она... — бормотал дедушка, уже теряя сознание.

Это были последние слова его. Ночью дедушка умер.

А мама до конца дней казнила себя, что не выполнила волю умирающего — не подошла к бабушке, боясь нарушить традицию. В тот момент мама забыла, что уже однажды она переступила через обычай: в ночь, когда арестовали мужа, она при свекре громко плакала причитая:

— О, разрушился наш очаг!

ПОХИЩЕНИЕ

Несколько лет перед войной мама посылала меня в каникулы «на молоко» к своей младшей сестре в село, где до замужества жила и моя мама. В селе было много родственников, знакомых. Я любила ходить с тетей в гости, и не было случая, чтоб, узнав, чья я дочь, меня не спросили: «А у мамы твоей все такая же длинная коса?». Оказывается, длинной косой да еще трудолюбием была известна моя мама.

...Как-то к дому подъехала арба. Мужчина, сидевший в ней, постучал плеткой по воротам и скрипучим голосом крикнул:

— Эй, хозяйка!

Вышла тетя и пригласила его в дом.

Он не понравился мне: щуплый, небритый, мрачный. А когда гость слез с арбы, то я увидела, что он еще и сильно хромот. Он вошел в дом, посидел немного, выпил стопку аракки, о чем-то говорил с тетей.

— Знаешь, кто это был? — спросила тетя, когда он уехал, и поведала мне удивительную историю. (Мама же только незадолго до смерти решила рассказать это).

Тетя была еще девочкой, когда однажды ночью кто-то постучал к ним и женский голос попросил открыть дверь. Когда же дверь открыли, в комнату ворвались несколько человек, скрутили пожилого отца, отбросили мать, схватили старшую сестру и усакали.

Пока все опомнились, позвали соседей, рассвело. Среди близких родственников молодых мужчин, которые тут же помчались бы в погоню, не было. Соседи готовы были отправиться на поиски, но куда? Похищение девушки в те годы не было редкостью. Обычно это делали после неудачного сватовства, если родственники или сама девушка отказывали жениху. А тут никто не сватался, и вдруг похитили!

Через неделю девушку нашли в отдаленном селе, и тут только выяснилось, кто ее украл: парень, который жил на одной улице с ней. Он был настолько уверен, что за него никто не пойдет, что и свататься не стал. Наметил же он себе в жены мою маму, как самую работающую из сестер. Сам же он в ночной «операции» не участвовал, а пригласил людей из другого села: боялся, что односельчане откажутся. Через соседку он узнал, кто где спит. Обычно две старшие сестры спали вместе, а младшая — со своей матерью.

И надо же было, чтобы именно в эту ночь мама уговорила младшую сестру поменяться местами.

Похитители маму мою в лицо не знали, да и темно было, их предупредили только, что из спящих на угловой кровати надо уносить ту, у которой длинные волосы. Они и схватили старшую мамину сестру: у нее волосы были длиннее, чем у лежащей рядом младшей.

Когда ошибка обнаружилась, было уже поздно...

Старикам-родителям ничего не оставалось как смириться. Если бы даже они отобрали дочь, никто после похищения на ней бы не женился.

Так тетя и прожила с немилым человеком. Он еще оказался и скупым, жадным, жестоким. Хозяйство большое, работы в доме много, а тетя, болезненная, хрупкая, из трех сестер была самая непривычная к тяжелому труду. Детей у них не было, и тетя зачахла от безрадостной, тяжелой жизни. Когда же она слегла и не могла больше заниматься хозяйством, муж привел в дом другую женщину, здоровую, сильную.

Я была ошеломлена не столько рассказом тети, как представив себе, что эта доля предназначалась моей маме.

Когда тетя пошутила: «Этот человек мог быть твоим отцом», — я пришла в ужас. Как, вместо моего красивого, мягкого, деликатного отца, этот противный сморщенный старик?

Какое счастье, что этого не случилось!

БЕЛЫЕ РУБАШКИ

Мне всегда хотелось научиться стрелять. И когда однажды в нашу школу пришли шефы, курсанты пехотного училища, расположенного на окраине города, и предложили записываться в кружки, я без колебаний выбрала стрелковый.

Собрали «стрелков» из всех классов на первое занятие. Оказалось, что в кружке — только мальчишки. Я подошла уже к курсанту, чтобы отпроситься, — не буду же я одна заниматься с мальчишками — когда в класс вошел Он, Костя, причина моих тайных мучений и страданий.

Он был самый видный, самый красивый, как мне казалось, мальчик в школе. Учился он в восьмом, нравился многим девочкам класса, и конечно, мне, шестикласснице, не пробиться сквозь их строй. Только издали на переменах я украдкой посматривала на него. И вдруг такое счастье: мы в кружке, где только одна девочка — я, и может быть, он обратит на меня внимание!

Занятия кружка были по воскресеньям. Всю неделю я жила ожиданием этого дня, продумывая, как «случайно» я стану рядом с ним и мы вместе будем разбирать и собирать мелкокалиберную винтовку. Но ниразу мне это не удалось: на все занятия он опаздывал и пристраивался к кому-нибудь из мальчиков.

Через несколько воскресений, в морозный солнечный день мы вышли во двор школы, разостлали на снегу маты, руководитель закрепил мишени, роздал нам по три патрона, и мы начали стрелять.

Я ждала своей очереди и мечтала: я попаду все три раза в десятку. Костя посмотрит на меня, улыбнется, а может, и подойдет.

И вот я стреляю. Руководитель подошел к мишени и объявил: «Девятка, семерка, восьмерка!». Это лучший результат!

Курсант хвалит меня, мальчики окружили, удивленно смотрят. А Костя... в сторонке старательно счищает снег с брюк... Я не выдержала, расплакалась — все подумали от радости — и убежала домой.

Потом, как водится, начались соревнования между школами района, города. И хоть от нашей школы мы участвовали вдвоем с Костей, по-прежнему он не замечал меня.

Как-то вызвала меня завуч и повела в военный кабинет. Там уже был Костя. Мы стали рядом, дали нам в руки винтовки, и какой-то корреспондент из Москвы сфотографировал нас.

В феврале 1940 года наша фотография появилась в газете «Пионерская правда» с подписью «Учащиеся школы №... (наши фамилии) готовятся к республиканским стрелковым соревнованиям». Вскоре и в местной газете напечатали эту фотографию.

И потекли в школу письма. Откуда только не писали! Из Казахстана и Белоруссии, из Иванова и Тюмени, из детского дома на Украине. Писали мальчики и девочки, которые хотели дружить с нами. Многие присылали свои рисунки, вышивки.

Для меня же каждое письмо — повод подойти к Косте, подойти на перемене открыто: ведь все в школе знали, что нас связывает.

Летом один из писавших, мальчик девяти лет, приехал с мамой погостить к нам. Тут уж я совсем осмелела: звала Костю к себе.

Он приходил всегда наглаженный, в неизменной белой рубашке с аккуратно закатанными чуть выше локтя рукавами (так было модно в те годы). Единственный ребенок в семье, обожаемый родителями и незамужней тетей, он всегда был ухожен, хорошо одет.

Костя играл с мальчиком в шахматы, а я сидела рядом, боясь пошевелиться, чувствуя, что лицо мое пылает, и не зная, куда деть руки, сплетала в косички бахрому скатерти.

Жил Костя на соседней улице, а родители его были из одного села с моей мамой. И то, и другое отравляло мне жизнь. Возвращаясь с огорода, с тяпками, лопатами, корзинами, мы должны были пройти мимо их дома, и мама часто останавливалась поговорить с односельчанами. Я же всегда была в страхе, что он может увидеть меня в таком неприглядном виде.

А однажды произошло такое, после чего я до конца лета избегала встреч с Костей, хотя при виде каждой белой рубашки екало сердце — Он!

...С утра я пошла за керосином. Керосина в ларьке еще не было. Очередь растянулась на целый квартал. Номера записывали химическим карандашом на ладони и мелом на посуде для керосина. Привезли керосин только к вечеру. Люди, измученные долгим стоянием на жаре, обозленные, вступили в драку с пролезающими без очереди. Кое-как я выбралась из этой свалки с бидоном, полным керосина. При выходе меня толкнули, керосин расплескался мне на ноги.

И вот такой — растрепанной, с номером очереди на руке, с подолом, забрызганным керосином — я встретила Костю. Нарядный, улыбающийся, под руку с тетей он шел в театр... Лучше бы мне провалиться сквозь землю!

Начался новый учебный год, и летние переживания немного сгладились. Два увлечения было в этот год в нашей школе: повальное стремление к «родству» — игра в названные братья и сестры — и драмкружок. «Режиссеры-постановщики» были свои же ребята. Я участвовала во всех спектаклях.

Появился и у меня названный брат, и я была горда этим. Правда, вскоре выяснилось, что я была лишь предлогом: ему правилась моя подруга, которой он поручил главную роль в пьесе, хотя она, беленькая, пухленькая, по моему представлению, никак не подходила для роли горянки.

В эту же зиму я часто выступала по городскому радио в передачах для детей (иногда с настоящими артистами), читала стихи на многочисленных конкурсах, олимпиадах. Все это мне очень нравилось.

С Костей же у меня за этот год установились странные отношения. Он подходил ко мне сам, мы обменивались книгами, обсуждали их. Иногда он заходил ко мне домой за книгами, которые я выпрашивала у соседки и отдавала ему, не всегда успевая даже дочитать. Но относился он ко мне немного свысока. Помню, очень неодобрительно воспринял, что я, не посоветовавшись с ним, завела «брата». И хоть нравился он мне по-прежнему, но я смирилась с ролью опекаемой.

Однажды летом Костя пришел не днем, как всегда, а вечером и позвал меня погулять, чего раньше никогда не делал. У него был такой необычный вид, что я замерла: сегодня, вот сейчас, он скажет мне что-то важное, то самое, чего я так долго ждала. И он действительно начал говорить. О том, что я девчонка что надо, что он хорошо ко мне относится, он знает, что и я к нему равнодушна (я слушала, и все во мне ликовало — наконец-то!), но... я нравлюсь его близкому товарищу, который хочет со мной дружить, и он, Костя, как старший, как мой друг, советует мне с ним встречаться.

Я растерянno молчала. А он все говорил, говорил: «Он хороший мальчик, много читает, тебе будет интересно с ним. Я дал слово, что уговорю тебя, и если не согласишься, значит, ты не считаешься со мной».

Он назвал товарища. Я знала Бориса. Раньше он учился в нашей школе, но умерли его родители, и Борис ушел в техникум. Мы здоровались, когда он приходил к дяде, жившему в соседнем со мной доме.

И я согласилась. Согласилась дружить с Борисом, чтобы только доказать: ради Кости я готова на все. Но как мне было обидно!

На следующий день в 11 часов мы встретились с Борисом в конце проспекта. Он тоже был в белой рубашке с закатанными рукавами, но... все было не то: и рубашка не такая белоснежная, и рукава не так подвернуты.

Молча мы пошли мимо сидящих по обе стороны бульвара и смотрящих только на нас. Дошли наконец до «Трека», вошли в парк. Там уже стали чувствовать себя немного раскованней.

Было очень жарко, хотелось пить, но я не решалась подойти к киоску с водой.

Потом мы катались на лодке по пруду в центре парка. И только тут Борис отважился передать мне кулечек с почти расплавленными, слипшимися конфетами-подушечками, которые он целый день протаскал в руке. Я не знала, что с ними делать, и «забыла» раскисший пакетик в лодке.

С Борисом было на самом деле интересно, и проходили мы до пяти часов. Наконец я спохватилась, что мне влетит за долгое отсутствие, и заторопилась домой.

Опять мы шли по проспекту. Но что-то странное произошло за день: никто не сидел на бульваре, люди группами стояли под репродукторами и что-то бурно обсуждали.

А я, радуясь, что на нас никто не обращает внимания, лихорадочно придумывала, чем объяснить дома мое отсутствие в течение целого дня.

Подходя к моему дому, мы, не сговариваясь, сделали вид, что каждый идет сам по себе — я домой, он — к дяде.

И только войдя во двор, увидев взволнованных соседей, плачущую тетю, приехавшую из села, я узнала: война!

Страх охватил меня! Первая мысль — брат! Где Саша? В час он должен был читать стихи Лермонтова по радио. До сих пор его нет! Я выбежала на улицу. Борис стоял в группе мужчин, разговаривал с дядей. Увидев меня, он, уже не таясь, подошел ко мне. Узнав, что я иду искать Сашу, он не удивился, хотя знал, что брат намного старше меня, и пошел вместе со мной.

Мы встретили Сашу на мосту через Терек. Я бросилась к нему, прижалась. Он гладил меня по голове, успокаивал, рассказывая, что все передачи, кроме сообщений о войне, отменили. Когда я оторвалась от брата, Бориса рядом уже не было.

Я больше никогда не видела Бориса... Через несколько дней он ушел добровольцем на фронт и вскоре погиб.

А в конце года несколько старшеклассников нашей школы поступили в Ейское летное училище. Среди них был и Костя.

Он написал мне три письма из Ейска. Письма хорошие, ласковые, совсем взрослые. Он писал, что вернется — и все у нас будет по-другому, просил не обижаться и простить его, не объясняя за что.

А я и не обижалась. Лишь бы был жив! Лишь бы вернулся!

Но он не вернулся. Не вернулся, как и Борис, как Ибрагим, Володя, как наш учитель физики, как мой родной брат и три двоюродных, как тысячи, миллионы чьих-то других братьев, сыновей, любимых...

Самолет Кости взорвался при взлете на аэродроме.

Мать его обезумела от горя. Я встретила ее через несколько лет после войны. Она завела меня домой. Обнимала, плакала, показывала фотографии Кости, вырезки из газет, где мы с ним вместе, и все спрашивала: «Ты ведь любила его, да? Любила, любила, я знаю. Его нельзя было не любить!».

А потом вдруг ожесточилась и начала рассказывать, как к ней пришел выразить соболезнование товарищу Кости, тоже бывший ученик нашей школы, на глазах которого взорвался его самолет. «Зачем он пришел? Зачем он мне нужен? Он жив, а мой сын погиб, никто его не спас!». И столько было недоброго в ее лице, что мне стало жутко.

Она звала меня заходить еще, но я не решилась. Я не была уверена, что как-нибудь и мне она не скажет: «Зачем ты мне нужна? Сына моего уже нет, а ты жива, замужем за другим».

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!?

Я мечтала о Москве, как чеховские сестры. Мне тоже казалось, что в Москве будет другая, интересная, счастливая жизнь.

Отличный аттестат давал возможность поступить в любой вуз без экзаменов. Но для меня в общем-то не так важно было, куда поступить, лишь бы в Москве.

Мама возражала против моего отъезда, зная, что помогать мне не сможет. Я пожаловалась брату, находившемуся на фронте. И вот в середине августа 1944 г. мама получила письмо, в котором брат просил отпустить меня. «Война кончается, — писал он, — скоро я приеду, начну работать, и нам будет легче».

Скрепя сердце мама согласилась.

Я отправила документы в Москву и стала ждать вызова. Вот уже конец августа, начало сентября, а вызова все нет и нет. Каждый день я выбегала навстречу почтальону, иногда ходила сама на почту. Напрасно!

Наконец в середине сентября — письмо, написанное незнакомым почерком. Не обратив внимания на обратный адрес, радостная, я открыла конверт, и... «Вы, вероятно, получили уже официальное сообщение, что Саша 25 августа утонул...». Я не сразу поняла, что пишут о брате, моем родном, любимом, который после исчезновения отца был самым большим авторитетом для меня, которым я гордилась. Разница в возрасте — брат на шесть лет старше меня — не мешала нам дружить. Мы учились в одной школе, читали одни и те же киги, оба подрабатывали в радиокомитете, участвуя в литературных передачах для детей, оба увлекались театром: были в драмкружках (я в школе, он — в каком-то клубе). Когда брат разучивал роль, я сходила за партнёршу. Он — Лжедмитрий, я — Марина, он — молодой цыган, я — Земфира. Сближала нас и общая отстраненность от всех

после ареста отца. Брат, пожалуй, все переживал трагичнее. Чего стоило ему одно школьное собрание, на котором его исключили из комсомола за отказ отречься от отца, «врага народа». Да и на фронт его отправили санитаром, хотя он окончил институт.

...Я дочитала письмо, длинное, с какими-то неуместными, ненужными подробностями о переживаниях неизвестной женщины.

Нет! Этого не может быть! Ведь только несколько дней назад он писал, что скоро вернется! И как можно жить, если брата больше нет! Хотелось кричать: «Это неправда!».

Я с ужасом посмотрела на часы: вот-вот должна прийти с работы мама. Я схватила письмо, забежала к соседям. Давясь слезами, я затаилась, прислушиваясь к тому, что делает вернувшаяся мама: зажгла примус, готовит ужин, постучала соседям, не знают ли, где я...

Просидев у соседей до темноты, я твердо решила, что не буду говорить маме о письме. А вдруг это все-таки неправда!

Мама побранила меня за поздний приход, но, увидев мое лицо, встревожилась. Я сказала, что разболелся желудок. Не поев, легла.

Боже! Что это была за ночь! Мы с мамой лежали на одной кровати. Меня знобило, трясло. Мама не сомкнула глаз, беспокоясь обо мне, сменяя мне грелки. Не выдержав, я начинала плакать якобы от боли.

Настало наконец утро, и мама ушла на работу. А я опять к соседям, близким, добрым, много хорошего делавшим для нас. Еще одну такую ночь я уже не могла выдержать, и мы решили сказать все маме.

Опять я слушала, как пришла и возилась мама, как она пошла в сарай за дровами, собираясь затопить.

В окружении соседей я с плачем вошла в комнату, бросилась к маме. Она поняла сразу... Опустила руки... Поленья посыпались ей на ноги...

— О-о-о! Мой сынок! Мое солнышко!

Она рвала на себе волосы, царапала щеки, билась головой о стену... И не было сил удержать ее.

На следующий день пришло письмо и от командира: «Нашу часть постигло горе... Мы похоронили Сашу 26 августа на Русском кладбище г. Евпатория... Посылаем шесть рублей и две фотокарточки сестры, которые были у него в кармане...». Вот и все. Сомнений больше не было.

Приходили родственники, знакомые выразить соболезнования. Свой плач мама сопровождала причитаниями, рассказывая о своем горе, о письмах сына, обещая выполнить последнюю просьбу его: отправить меня учиться в Москву.

Мы с сестрой стояли рядом с мамой, вдруг я почувствовала, как одна из родственниц сунула мне что-то в карман и шепнула: «Это тебе на дорогу!». А потом кто-то еще... и еще кто-то... деньги, которые обычно собирают на поминки, отдавали мне на поездку!

Стали собирать меня в дорогу. Знакомый сапожник стачал мне сапоги из двух пар дедушкиных. Из единственных брюк брата сшили юбку. Перелицевали пальто сестры для меня. Мама отдала свой вязаный платок, тетя — свитер.

В таком виде я появилась на филологическом факультете Московского университета.

...Жизнь так сложилась, что только через 26 лет я смогла поехать в Евпаторию. Я разыскала женщину, которая написала нам о Саше. Повела она меня на Русское кладбище, теперь уже закрытое. В конце, где хоронили военных, несколько едва заметных холмиков. На некоторых — деревянные памятники с красными звездочками. Все надписи стерлись. Под каким из этих бугорков мой брат — неизвестно...

Я положила цветы на все холмики...

А еще через 15 лет нам позвонили из военкомата: разыскивали Сашу, чтоб вручить орден Красной Звезды, которым брата наградили в декабре 1943 года.

МОЕ ПОКАЯНИЕ

В 1944 году я приехала учиться в Москву.

Замкнутая, вся зажатая, неуверенная в себе, плохо одетая даже для тех лет, я появилась в группе, где почти все были москвички. Молча сидела я на занятиях, тоскуя о доме, о погибшем брате. А после занятий — знаменитая Стромынка, с ее пропахшими темными коридорами, крысами, комнатами на 6—12 человек, общими кухнями, где для того, чтобы пристроить кастрюлю на плиту, надо было занять очередь. Это потом уже стала Стромынка «домом родным», и сейчас вспоминается и много хорошего. Тогда же я готова была хоть пешком идти домой. Вдобавок еще в метро у меня вытащили из портфеля кошелек с деньгами, паспорт, продуктовые карточки почти на месяц.

Я была в отчаянии. Что делать? Не могла же я поделиться своим горем с этими самоуверенными, сытыми, как мне казалось, девушками, у которых и разговоры-то о катке, концерте Рихтера, выступлениях Яхонтова. Что им мои карточки?

И только с одной я поделилась. Она тоже была москвичка, хотя фамилия и имя ее (Нателла) грузинские. Меня тянуло к этой красивой, с огромными глазами, ресницами-опахалами, нарядной девушке. Я замечала, что и она с теплотой поглядывает на меня.

Нателла довольно сдержанно посочувствовала мне. А вечером она приехала ко мне в общежитие с «гуманитарной помощью», как сказали бы теперь: двумя буханками хлеба, белой и черной, и карточкой до конца месяца.

После долгих уговоров Нателла согласилась выпить чашку чаю, отказавшись от второго куска хлеба. Я не настаивала, думая, что ее ждет обильный ужин. Могла ли я предположить, что она так же голодна, как и я!

Вскоре Нателла пригласила меня в гости. Нас встретила ее тетя, тут же усадила обедать. И хоть на обед был какой-то водянистый супчик и пшенная каша, но обставлен непривычно церемонно для меня: с приборами, сменой тарелок. А посреди стола на тарелке, покрытой салфеткой, нарезанные по количеству сидящих кусочки хлеба. (Я заметила, как, став ко мне спиной, тетя отрезала от каждого кусочка, сооружая порцию для меня).

Так я попала в семью, которая вот уже 50 лет является для меня родной. А в первый раз мне было странновато: в доме один взрослый и пятеро детей, из которых только один называет ее «мама», все остальные — Ляля.

Я стала часто бывать у них, а после зимней сессии почти переселилась, изредка наведываясь в общежитие. И тут я узнала о такой трагедии, перед которой померкло мое собственное горе.

Елена Соломоновна (Ляля), тетя моей подруги, исключена из партии, все ее родственники репрессированы.

Нателла — дочь ее старшей сестры, бывшей бакинской подпольщицы, арестованной через месяц после ареста мужа, члена правительства Грузии.

Ира и Шурик — дети младшей сестры Елены Соломоновны, отбывающей ссылку в Акмолинске как жена «врага народа», профессора Казанского университета. Ира и Шурик после ареста родителей жили с бабушкой в Баку. Во время войны бабушка умерла, дети остались одни, буквально беспризорничали. Елена Соломоновна с большим трудом достала через своего бывшего ученика, полярника Папанина, билет на самолет и привезла детей к себе.

Вова — сын второго мужа Елены Соломоновны, крупного экономиста, арестованного в 1937 году.

Наконец, собственный сын Елены Соломоновны от первого брака — Юра, отец которого тоже арестован.

В этой же квартире жили жена и дочь брата Елены Соломоновны, репрессированного в Одессе.

Мой отец тоже был арестован в 1937 году. Но я была твердо уверена, что он ни в чем не виноват, что арестован он случайно, по ошибке. А тут... Ну не может же быть столько случайностей... Значит, было какое-то основание... Я очень полюбила всю семью, но этот повальный арест меня настояживал.

Как-то Елена Соломоновна рассказала мне о «завещании» Ленина. Я не поверила. Я вся внутренне сжималась, когда неуважительно говорили о Сталине. Ведь я-то его боготворила. Совсем жутко мне становилось, когда, проходя мимо особняка Берии на углу Спиридоновки и Садового кольца, Нателла говорила почти вслух: «У, сволочь, отгородился высоким забором, наставил охранников!» И она рассказывала неправдоподобные истории о пьяных оргиях Берии, сохранившиеся в ее памяти со времен, когда они в Грузии жили по соседству.

Елена Соломоновна, преподаватель политэкономии, исключенная из партии, да еще ратующая за «соблюдение ленинских норм», долго не удерживалась на одном месте. Удивительно, как вообще ее оставили на свободе! А большую семью надо было кормить. И иногда хоть скромненькую посылку собирать сестре в Акмолинск.

Откуда в этой невысокой молодой (ей было около сорока, хотя мне в мои 18 лет она казалась пожилой) женщине было столько сил, энергии — уму непостижимо.

Помню огромный потрепанный портфель, с которым Елена Соломоновна не расставалась. Каждый вечер мы с нетерпением ждали ее возвращения. Не было дня, чтобы портфель был пуст. Всякими правдами и неправдами Елена Соломоновна ухитрялась отovarивать карточки в каком-нибудь спецмагазине. Иногда ей удавалось брать хлеб на день вперед. Каждое

утро начиналось с забот о том, кому уже пора вернуть занятые деньги, у кого перезанять, чтобы отovarить карточки.

Вовлечены были в эти комбинации и мы: продавали полагающийся по карточкам белый хлеб, чтобы купить побольше черного. Иногда в профкоме нам выдавали талоны на ситец, который мы тоже обменивали на хлеб.

При всем этом дом всегда был полон людей. Приятели, знакомые, знакомые знакомых и приятелей... И всех усаживали за стол, всех хоть чем-то кормили, поили чаем. И теперь уже я — у меня обнаружился самый точный глазомер! — разрезала хлеб по количеству едоков.

А сколько народу собиралось на дни рождения! Какой ви-негрет делали! И сколько! К празднествам начинали готовиться задолго. Все припасали подарки, экономя на чем-нибудь.

В 1947 году отменили карточки, жить стало легче.

Вернулась из ссылки Женя, мать Иры и Шурика. Она была такая красивая, обаятельная, что невозможно было представить ее в тюремной обстановке. Находиться в Москве она не имела права. Пришлось снять угол в 150 километрах, но усидеть там Женя не могла. Она так стосковалась по детям, которых не видела долгие годы, по теплу и уюту дома, что, рискуя быть опять высланной, почти все время была в Москве. Мы выработали условный стук, и если приходил кто-то незнакомый, Женя пряталась в платяной шкаф. Особенно страшлись ночных звонков и стуков, но все обходилось.

А в 1949 году Женю опять сослали, теперь уже в Сибирь. В Сибири Женя прожила несколько лет, пока наконец окончательно она не вернулась в Москву.

В середине 50-х годов Елену Соломоновну восстановили в партии, дали квартиру, начала она работать по специальности. Все ее питомцы получили специальности, кто лучше, кто хуже устроились в жизни. Тут бы и пожить ей немного спокойно.

Но... в 1965 году Елена Соломоновна погибла в автомобильной катастрофе.

Она гостила у меня за две недели до гибели. Была полна идей, планов, увлеченно рассказывала о своей работе, была вся в заботах о том, кого куда послать отдыхать.

Со смертью Елены Соломоновны ослабли связи между членами когда-то единой семьи. Из всех арестованных только Женя вернулась. Где могилы остальных — неизвестно. Бесследно исчезла мать Нателлы. Об отце ее известно, что он расстрелян после зверских избиений в присутствии и при участии Берии. Расстрелян муж Жени и два его брата. Расстреляны муж и брат Елены Соломоновны. Имена их сейчас упоминаются во многих статьях, посвященных жертвам «культы личности».

...В каждый свой приезд в Москву я стараюсь побывать и у Жени. И не перестаю поражаться, как можно сохранить такую душевность, отзывчивость, не озлобиться, не разувериться в людях. А красива она по-прежнему, хоть ей за 80!

Я навсегда благодарна судьбе, сведшей меня с этой необыкновенной семьей. Часто задумываюсь: а какая бы я была сейчас, не будь в моей жизни этих замечательных людей?

И хочется мне запоздало покаяться за те давние мысли, когда я усомнилась в невинности близких моей Нателлы.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

В конце 40-х годов мужа моей тети, педагога по профессии, послали директором в школу села, где до 1944 года жили ингуши и куда (тоже насильно!) водворили осетин.

Поселили семью директора в пустующий дом (их было много) ближайший к школе. Дом был ветхий, с земляным полом. Были в доме и остатки скромной мебели: кухонный шкафчик, низенький столик, два табурета. Примечательным был большой заросший фруктовый сад при доме: вишни, сливы, абрикосы, яблони.

К своему назначению дядя относился как к временному явлению, поэтому и обзаводиться ничем не хотелось. Купили только корову, развели кур, сажали зелень. Так они прожили несколько лет.

Однажды тетя вышла рано утром подоить корову. Посмотрев в сторону сада, она сквозь утреннюю дымку заметила силуэт человека, обнявшего дерево. Постояв немного, человек перешел к соседнему дереву и опять прижался к нему.

Тетя перепугалась, решила, что это сумасшедший. Она вбежала в дом, разбудила мужа. Вдвоем они подошли к мужчине в саду. Он оторвался от дерева, посмотрел на подошедших. Слезы катились по его щекам. Заметив тревогу тети и ее мужа, он успокоил их:

— Не бойтесь, я не сошел с ума. Это мой дом, все деревья посадил я, и они снились мне долгие годы!

Мужчину пригласили в дом, тетя подала завтрак на низеньком столике. Он погладил столик:

— Я смастерил его сам.

Не обошлось, конечно, и без атаки. После выпитого напряжения спало, и гость рассказал подробности, тогда почти неизвестные, страшного пути и жизни на чужбине. Их везли, как скот, в товарных вагонах, почти без еды и воды. Большая